

Ли́дия Сы́чева

ПОСЛЕДНИЙ БЛОКПОСТ

Очерки



Ли́дия Сы́чева

Последний блокпост

«ЛитРес: Самиздат»

2002

Сычева Л.

Последний блокпост / Л. Сычева — «ЛитРес: Самиздат», 2002

Герои книги – матрос с «Курска» Николай Павлов и писатель Владимир Солоухин, сельская учительница Мария Алексеевна и чеченская красавица Седа, певица Александра Стрельченко и ветеран Великой Отечественной Иван Кузин, и – каждый из нас, кто жил в России на смене тысячелетий. Место действия: Урус-Мартан и Русский Север, древний Хотмыжж и современная Лазоревка, Москва и Казань. «Последний блокпост» – книга о времени, о народе, о России.

Содержание

Телестрасти	5
Кто глупее?	6
Их страсти и наши ужасы	7
СМИ недоработали...	8
Красота – категория социальная	9
Вещание продолжается	10
Неизвестный народ	11
Ненаписанное интервью	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Телестрасти

Лазоревка – деревня отцветающая. А давно ли селом была?! Хутора отпочковывались, народ большие семьи водил без опаски и задумчивости, и церковь – из красного кирпича – служила. Нынче молодежь, какая была, разбежалась; колхоз им. Дзержинского на боку; а церковь, закрытая при большевиках, обобранная при Советах, с украденным прошлый год звоном – стоит. На самом высоком лазоревском пригорке. Радист-рационализатор Дима Глазочкин, местный Левша, пристроил на колокольне телеантенну. А что, у церкви все равно перспектив в Лазоревке нету, а место – надежное. Высокое. Вот с него-то и идет на деревню «вещание».

Кто глупее?

Говорят, что народ в России глуп. По телевизору часто говорят. И, мол, вроде потому он глуп, что уж очень сериалы любит смотреть.

И правда, баба Таня Ушкова, бывало, корову свою, кормилицу Ромашку, кое-как подоит, лишь бы свиданье Марии и Виктора Карено не пропустить. Но глупа ли баба Таня, вырастившая в одиночку двух хороших деток (муж от рака помер)? Сомневаюсь. И что же, спрашивается, не порадоваться ей чужому личному счастью? И потом задумаемся, кто глупее: кто смотрит или кто показывает?! То-то...

Конечно, местных новостей в Лазоревке нынче дефицит. В основном кто чем болеет, кто чем лечится, да кто от чего помер. Мало созидательности, движения. Вот и обсуждает народ заграничную жизнь. Антон Костин, бывший скотник, в очереди у ларька с хлебом возмущается:

– Вроде бы у нас своих быков нету!

– Вот-вот, – подхватывает Шабалатов, еще один пенсионер, друг Костина, – такую муру показывают: мясной король, да семья, да наследство, да всё одно и то же, – и плюет. Но сериал бразильский, про сельское хозяйство, товарищи смотрят исправно, по часам. Утром и вечером. Потому как лазоревские быки давно уже не в киношном виде – еле ногами двигают. И скотник Сережа Лебедев, вечно небритый мужчина лет сорока, с неухоженными волосами, в обвисших на коленях спортивных штанах, пьяный, шатается все чаще мимо фермы. А в ушах у него – наушники. Музыка слушает. Эстет...

Их страсти и наши ужасы

Зима как заходит, вечера в Лазоревке длинные. Антон Костин и жена его Настя, погружаются в латиноамериканские страсти. Настя, женщина много пережившая, глуховата. Сумбурный, быстрый перевод в сценах объяснения героев недослышит. Спрашивает у мужа:

– Антон, ну а че она к нему пристаёт?

– Чё, чё... – Антон думает, как ему перевести: “Я знаю, я видела, ты с ней спал, я никогда тебе этого не прощу” и т.п.

– Жить без него не может, вот чё, – находится он.

– О-ё-ё, – возмущается Настя, – нагребла денег, надурила его, а теперь жить не может!

Пошли титры. Супруги выключают телевизор, оберегая его от лишней нагрузки. Но обсудить бразильскую жизнь в подробностях, посочувствовать ихним горестям Костины не успевают: тут как тут баба Рая Лебедева, соседка. Старая, а на ногу быстрая. Примчалась поднять большую тему:

– Что делать с Сережкой? Пье, и пье, и пье, зараза. Алименты той семье платим, а ему кажем: живи, живи с Валентиною! Свататься в субботу придут к ее девке, а отчима нету, пье. Он же, сатана, ехал на велосипеде и в яму, что под воду роют, рухнул и кричит зятю будущему, Юрке, – доставай. Тот вытяг, велосипед целый, а у Сережки палец на руке вывихнутый. А Валентина, она ж его терпит тока из-за хаты нашей, а то б выгнала давно. Но она – молоде-е-ец! Молодец! – восхищается бабка Лебедева невесткой, – он лежит пьяный в хате, без движения, она мочалку взяла, с какой в баню ходит, и по морде его – туды-сюды, туды-сюды! А Витьке, внучку, надо сапоги купить. Я кажу Федьке (мужу) – надо хлопцу купить, он же нам помогает. А он: хай Сережка покупает, надо деньги собирать, вдруг какой случай. Оно и правда: и сапоги надо, и сватовство в субботу, хоть бери заем.

Разговоры о займах у баб Раи – одни из любимых. Антон Костин охотно ее поддерживает, но на свой лад:

– Ды вон наши министры тоже денег понабрали – в Америке, у японцев. А чем отдавать теперь, не знают.

– Ая-я-я-яй! – сокрушается баба Рая. – Продадут с потрохами нас! Хана народу!

– Хана, – соглашается Антон и шутит:

– Одним алкашам не страшно, им терять нечего...

СМИ недоработали...

День и ночь внушают Лазоревке по телевизору: хана нам всем или не хана, – от нас самих зависит. От нашего выбора. Так что не ошибитесь! Программу «Время» лазоревцы стали ждать как “Последнюю жертву”: что на этот раз скажет разволнованный правдолюб, то и дело сглазывающий слюну? Шофер Суховерхов, из справных, непьющих мужиков, ведущего случайно переименовал. Говорит как-то Суховерхов радисту Глазочкину:

– Дим, ты вчера глядел этого, как его, Пидаренко?

Глазочкин: “Ха-ха-ха!” Язык у него без костей, и как не просил шофер Диму попритереться, по деревне понеслось: Пидаренко да Пидаренко. Так из-за суховерховской темноты пропала вся агитация.

Ну, ладно. Выборы – вещь серьезная. Соседнее Лазоревке Кашарино – село благополучное, по нынешним временам почти процветающее. А все из-за председателя, Тяглова. Потому как он – хозяин. Газ в Кашарино протянул. Американской кукурузой поля засеял. Клуб молодой семьи открыл. Доехал до Москвы, встретился с Зюгановым, и тот ему ручку с золотым пером подарил. Столько про эту ручку разговоров было – мол, вечная она, чернила в ней сами берутся, заправлять не надо. Одни говорили, что ручка импортная, а другие рассказывали, что наоборот, ручка наша, но царских времен, и потому такая качественная.

Но бог с ней, с ручкой. Решил Тяглов выдвинуться, стать депутатом Госдумы.

А тяжело человеку без привычки в политику лезть. То дебаты на местном ТВ, то компроматы в газетах, то речи на сходках. После одного такого дня сидел Тяглов вечером подомашнему, в одних трусах, ужинал. Люська, жена, видя его утомленное состояние, одну чарку поднесла, другую... Тяглов – стати осанистой, номенклатурной, но тут его что-то развезло. Глаза налились обидой, кровью. Встал, и ни слова ни говоря, – к порогу. Люська: “Куда?” Ясно ей, конечно, куда: Санька, любовница, недалеко живет. Тяглов прет. Люська взвизгнула: “Не пущу!” Хвать мужа за трусы, резинка лопнула, они и упали. Но Тяглов столько срама перенес в предвыборной борьбе, и что ему там какие-то трусы! Он гордо через них переступил и пошел к Саньке. Гольный. Стоял октябрь уж на дворе...

Электорат местный был в восторге. И Кашарино, и Лазоревка в полном составе на выборах голосовали за Тяглова. Жаль, все равно он проиграл – в округе три района, и дальние избиратели ничего не знали про Саньку и любовное горение. Недоработали СМИ.

Красота – категория социальная

У шофера Суховерхова двое детей, и младшенькая, Сонечка, симпатичная, сообразительная: пошла в первый класс, а учится на одни пятерки. Сидит воскресным вечером суховерховская семья у телевизора, слушает умные аналитические программы. Сонечка молчала-молчала и вдруг говорит, показывая на Николая Сванидзе пальчиком:

– Пап, неужели у этого дьявола есть жена?

Суховерхов аж поперхнулся: он молоко из кружки прихлебывал. Вся семья по широкой шоферской спине стала колотить кулаками. Еле откачали беднягу.

Что правда, то правда, не на кого в телевизоре теперь поглядеть, путевых людей почти не бывает. Настя Костина и Таня Ушкова соберутся у колонки побалакать, так стоят долго. Вся обсудят и до телевизора дойдут. Настя вспоминает:

– В году 74-м, бывало, пойду я к Лиде Мостиковой телевизор смотреть – на свой еще не собирали. А у Лиды, помнишь, сожитель тогда был, Миша. И вот показывают Людмилу Зыкину – а она – полная да хорошая. Я и кажу:

– Гляньте какая она красивая!

Миша аж подскочит:

– Это моя невеста была! Я ж москвич!

Лида:

– Тебе кого ни покажи, ты с ней был!

И задрались...

...А теперь, конечно, людей таких нет. Не из-за кого драться. И будь на месте Тяглова, допустим, Сванидзе, разве Люська стала бы его за труссы хватать?!..

Таня Ушкова тему длит:

– И правда, где они их собирали, таких гадких, в телевизор: то картавые, то шепелявые, то нечесанные, ну прямо нечистая сила! Вчера вон престольный праздник какой был, так они весь день показывали в рекламе бабьи притыки! Весь день! Специально, что ли?!

Настя Костина мелко крестится и, поглядывая в сторону церкви из красного кирпича, вздыхает:

– Ой, Господи, пропал мир!

Вещание продолжается

За всю Лазоревку не скажу, но Антон Костин Гаранта конституции всегда недолюбливал. Особенно Костин раздражался, когда президент обращался с телеэкрана к зрителям: «Дорогие друзья!»

– Какие ему тут друзья? – бушевал Антон. – За такие слова его выгнать надо и всё. Нашел друзей...

И вот – свершилось. Сам ушел. Антон Костин и Шабалатов в очереди за хлебом обсуждают судьбу Первого президента.

Шабалатов:

– Теперь он поедет на дачу жить, до Аяцкова. Там ему хоромы выстроены.

Антон:

– Да ну, поедет во Францию или в Америку.

– А че эт он туда?

– А где ж ему жить?! Тут и на улицу выйти стыдно...

А Насте Костиной Путин не нравится:

– Поехал в Чечню на Новый год и ножики солдатам раздал! Нашел подарок! Ну кто ему такое присоветовал?!.. На Новый год – ножики. Чтоб весь год дрались...

А Сереже Лебедеву Путин нравится. В редкие трезвые минуты Сережа коряво хвалит нового лидера:

– Он, это, как его, патриот!

...Лежит, лежит Лазоревка в снегах. Словно во сне заколдованном. Вечером идешь по скрипучему насту – изредка собаки брехнут, улицы темны, и только окна в домах синим светятся. Время новостей. Слушают лазоревцы большую страну. Вжимаются в кавказские горы наши солдатики, детишки наши. “Там их покروшили!” – вздыхает Настя Костина, и долго, долго не может потом заснуть.

Тихо, тихо в Лазоревке. Несколько порядков домов. Обширный, утыканный крестами погост. Пригорок в центре села. И – церковь. С неё и идет «вещание» на тихую, сумеречную деревню...

2000

Неизвестный народ

Сначала я увидела горы. Вершины их были сияющими, чистыми, такими, будто никто до меня на них не смотрел. Вечные горы. Красота и – смерть?! Горы остропикие и горы сторбленные, горы – как собравшиеся плечом к плечу великаны. А люди – внизу. На равнине и в предгорье. В домах и селениях. В окопах и бэтээрсах. В пещерах и на площадях... Я приехала в Чечню. Вторая за десятилетие война, 2000-й год.

А что мы, русские, знаем о чеченцах? Ничего мы о чеченцах не знаем. Мы, русские, сами о себе ничего не знаем...

В Чечне, в Урус-Мартане, семья Гадаевых подарила мне редкую книгу «Кавказцы», 1823-го года издания. Вот что пишет составитель Семен Броневский: «Чеченцев разделить можно по приличию 1) на *Мирных*, 2) *Независимых*, 3) на *Горных Чеченцев*. *Мирные*, то есть покоренные оружием, живут по правому берегу Сунжи в 24 деревнях... Имея в своем владении плодороднейшие земли, пахотные и сенокосные, при изобилии вод и лесов, упражняются в земледелии и скотоводстве... *Независимые* или *неприяженные Чеченцы* живут, начиная от подошвы Черных гор на полдень, в самые горы до высокого шиферного хребта, по рекам, впадающим в Аксай и в Сунжу. В число сих независимых Чеченцев находятся отделения, называемые собственно *Горными Чеченцами*... Они-то славнейшие в Кавказе разбойники».

Далее автор описывает традиционный разбой местных жителей: малые шайки от 5 до 20 человек перебираются через Терек, таясь, подстерегают неосторожных путешественников, или «работающих в полях худо вооруженных земледельцев». Когда добыча захвачена, ее переправляют в Чечню, и если пленник зажиточный человек, офицер или купец, то его «приковылают за шею, за ногу и за руку к стене, худо кормят, не дают спать и потом через несколько дней приносят бумагу, перо и чернило». Назначается выкупная цена, письмо через третьи руки доходит в Россию. Если же пленник простой человек, то его продают на базаре в Андреевской деревне. Старых и увечных определяют в пастухи.

Составитель книги заключает: «Таково главнейшее упражнение Чеченцев, обнаруживающее зверский их образ жизни в высшей степени». А что же Мирные Чеченцы? «Мирные Чеченцы, не смея то же делать явным образом, помогают своим соседям, покрывая их разбои...»

К чему эти пространные цитаты? К тому, что из песни слов не выкинешь. Отстреленные пальцы, видеокассеты с мучениями пленников, долларовые цены за заложников – лишь «модернизация» старинного промысла. Будем откровенны – в одной же стране живем – этим грязным «бизнесом» в 90-е годы занимались не латыши с украинцами, не евреи с азербайджанцами, а чеченцы. В подавляющем большинстве случаев.

Нигде так часто не услышишь слово «Родина», как на Северном Кавказе. Отечество, Отчизна, Отчий край... Мужчины говорят о Родине с большим чувством и с большой любовью. Здесь всегда будут писать это слово с большой буквы. Не чеченец, правда, а осетин высказал мне свою обиду: «Слушал сегодня «Русское радио», а там ведущий, Фоменко, со словами играл. Болтал, болтал, забалтывал, и получилось у него не «Родина», а «Уродина». Так и сказал: «Наша уродина». Ну нельзя же так!»

Кошмар! Какой чеченец, или осетин, или карачаевец, или ингуш будет нас уважать?! Название-то какое: «Русское радио»! Фамилия-то какая, малороссийская, – Фоменко! Это ж не Арби Бараев! Мы, наверное, очень сильны, если можем хихикать над святыми понятиями.

Из письма Президенту России Б.Н. Ельцину от жителей станицы Ассиновская: «24 мая похищенная из своего дома восьмиклассница Лена Назарова была зверски изнасилована группой из шести человек. В апреле 1994 года насильно изгнана из дома семья Съединых: мать,

дочь и ее трое детей. Их жилье захвачено чеченцами. Семья вынуждена скитаться. 13 мая 1994 года. Вооруженные бандиты врываются в дом Каминиченко. Зверски избиты мать и бабушка. Тринадцатилетняя Оксана изнасилована и увезена в неизвестном направлении».

Из письма жителей Наурского и Шелковского районов Черномырдину, Шумейко и Рыбкину: «Забит до смерти А.А. Просви́ров, расстрелян за рабочим столом замдиректора Калининского СПТУ В. Бе́ляков, ранен и ослеп директор этого училища В. Плотников, зарезан и сожжен начальник нефтекaчки А. Быков, зарезана бабушка 72 лет А. Подкуйко...»

И еще 250 тысяч русских, вышвырнутых из Чечни – какой газеты или какой книги хватит для описания их страданий?! Хочется спросить: что же наше русское радио, русское телевидение и русское правительство, такое улыбочливое, ироничное, раскованное, такое всесильное и вальяжное их не защитило, бросило на поругание?! Мы, русские, ничего о себе не знаем, и знать, видимо, не хотим...

Но вернемся в дом Гадаевых, дом, где я провела одну из гостеприимных «чеченских» ночей.

В дом меня привел хозяин – Султан Гадаев, начальник управления культуры Грозного. А жена его, Алла Георгиевна, учительница начальных классов. Русская. Правда, совсем, на мой взгляд, очечененая – в чертах лица, прическе, одежде, манере говорить. Но и хозяин «европеец» – в отношениях супругов я не уловила никакой восточной церемонности. И квартира у них городская, в несколько комнат. А детей – четверо. Старший, Рустам, в Нальчике живет. Девочки-близняшки, Карина и Марина, считай, определенные: Марина вышла замуж, ждет ребенка.

А младший сын, Тимур, дома. Он закончил школу. Смуглый, высокий подросток. За время нашего разговора Тимур не проронил ни слова. Только время от времени подходил к буржуйке, подкладывал в неё дрова – сырые ветки орешника. Печка установлена в комнате на кирпичах, труба выходит в окно... Мы говорим о войне, о прошлой жизни, о том, что нас ждет впереди. «Тимур вырос, а у него даже мечты никакой нет, – грустит мать, – ведь последние годы мы перебивались как могли. То дрова собирали, то по подвалам прятались, то от войны бегали. Осталось одно богатство – дети». Мы сидим в совершенно пустой комнате. Только два стареньких кресла, журнальный столик у стены и диван. На окне нет занавесок, а в самом окне вместо стекла – целлофан. И потолок – в трещинах. И на стенах – следы осколочных ранений.

Но есть электричество, и мы рассматриваем фотоальбомы – свидетельства прошлой, счастливой жизни. Вот Султан в молодости – ах, какой красавец! А вот Аня в черкеске – терская казачка – танцует в самодеятельности. А вот они вместе – завидная пара. Местная газета публикует в сентябре 1976 года заметку о Гадаевых «Семейное счастье». Пожелтевшая газетная правда среди множества фотографий – Первое сентября, огромные банты близняшек, серьезные урус-мартановские пионеры вместе с педагогами на Мамаевом кургане, девочки в национальных костюмах, концерт на центральной площади... Какие счастливые лица! Неужели все это с нами было?!

Свет внезапно гаснет. Хозяева зажигают свечу. Слышно, как на окраине города начинает работать артиллерия – глухие громовые раскаты. «Это моя Родина, – говорит Алла о Чечне, – и мне за нее обидно...» А Султан рассказывает, как мародерничают вэвэшники и омовцы, и что в каждом подразделении есть «мочило». Он сам попал в первую войну в такие ситуации на блокпостах, что «спина становилась мокрой». А от федералов все ждут справедливости...

Утром я проснулась от пения петухов – в Урус-Мартане, в основном, частные дома. Сельская идиллия время от времени перемежалась артиллерийскими залпами. Но петухи все равно пели. Они, видимо, и не такое пережили.

Покидая этот гостеприимный дом, я хотела спросить у хозяев: как же так вышло, что вы, такие разумные, начитанные, образованные люди, посадили себе на шею бандитов и насильников, грабителей и убийц? Но я ничего не спросила.

Чеченцы, и не только благополучная семья Гадаевых, но и представители какого-нибудь мафиозного клана, грабящего московские офисы, имеют полное право спросить: а что же вы, русские, посадили себе на шею такое правительство, что вас погнали отовсюду – из Чечни и Прибалтики, из Таджикистана и Казахстана? Нам-то, «славнейшим на Кавказе разбойникам», простительно, а вам? И это народ – Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова?! Мы, русские, забыли о себе все...

Известная журналистка пишет о первой чеченской войне: «Из города по дамбе пришли в чернореченский штаб [боевиков] человек десять солдатских матерей. Ходят пешком по Чечне, ищут сыновей... Одна пара – муж и жена – ищет сына. Он срочник, воинская специальность – снайпер. Показывают фотографию... Командир боевиков пожимает плечами: нет, не видали такого, не попался... Они уходят. Командир вдруг говорит: «А этот сын их. Снайпер... Расстреляли мы его на той неделе. Вон под тем деревом он зарыт. В плен их тогда взяли. Двое молчали, а этот стал рубаху рвать: «Я вас, гады, убивал и буду убивать!» Ну куда его? Расстреляли. А молчал бы – ничего б ему не было. Обменяли бы потом на наших».

Нужны ли комментарии? Боевик – благородный человек, и журналистку приютил, и родителям, как явствует из того же текста, хлеба дал. А мальчишка-снайпер – ну, вроде дурачка. С чеченцами в храбрости вздумал состязаться... Глупец?

И вот я сижу в доме Исы Тимаева среди чеченских женщин. На кухне. А мужчины во дворе жарят шашлык. Это чисто чеченская семья, и жена Исы, Фатима, строго обычаи соблюдает: как гостей принять, как мужу ответить, как детей воспитать. Младшей дочке нет еще, кажется, и года, но и она молкнет в присутствии мужчин, и зря глаза никому не мозолит. Умеют в Чечне растить детей.

Мы разговариваем на кухне, за столом, попиваем чай, и компания собралась приличная: хозяйка, Фатима, родственницы Шура и Бэла; беженки из Ведено, которые живут в доме Исы – Таисия и Седа; и я – гостя московская. Поначалу пошли разговоры про войну, обиды: про пьяных эмчезовцев, бомбежки, погибшее Комсомольское, про неправый суд, грубость и оскорбления федералов, про вымогательство взвэшников и омовцев, – я молчала. В словах чеченок было много правды, но я-то им свою сказать не могла! И тогда женщины стали вспоминать хорошее – как незнакомый офицер шепнул родителям одной из женщин, когда их выселяли в Казахстан, взять всё необходимое, какие замечательные подружки были у Фатимы, когда они с мужем жили в Красноярске, как нравится Седе Москва – она прожила в ней почти год... И какая прежде была замечательная жизнь – все дружили, ездили по всему СССР, и к ним приезжали, и главное – не было войны...

А я хвалю дом Исы и Фатимы – просторный, добротный, в два уровня, кирпичный снаружи, деревянный внутри, потолки затянуты блестящей тканью, на стенах ковры, двери раздвижные. А еще у Исы замечательная библиотека, книги подобраны с большим вкусом. В комнатах – красивая новая мебель.

Хозяйка радуется моей похвале: «Ну что вы! Это еще война, все запущено, а так вы и пылинки не найдете!» Меня повозили по чеченским селениям, повидала я здешние дома. Даже развалины на окраинах Комсомольского – впечатляют. Это очень прочные кирпичные строения, просторные, сделанные с размахом и шиком, и видно, что хозяева их – люди не без достатка. Эти дома не сравнить с вымирающими развалахами в Архангельской ли, Владимирской или Костромской области.

Только не надо сразу делать вывод о том, что русские – бездельники и пьяницы, а чеченцы – трудолюбивые домостроевцы. Пока русские возводили бесчисленные заводы и ГЭС в наци-

ональных республиках и автономиях, ютились в «шанхаях», времянках и общежитиях, питаюсь комсомольским и партийным энтузиазмом, местные просто обустроивали свою жизнь. На исконных землях. Ведь где бы чеченец не умер, хоронить его везут на Родину. А брат моей бабушки, дед Артем, рабочий нефтезавода, умер в Грозном, и где теперь его могила? И сестра моей бабушки, тетка Ирина, умерла здесь... Ну и кого мы удивили своей добротой?! Интернационализм – чума XX века. Вот и Гавриил Попов, грек и демократ, вдруг стал беспокоиться: «Русские вымирают... Надо им помогать строить дома, заводить семьи... А то у русских нет цели в жизни». И еще раз двести в короткой статейке повторил – «русские». Прямо баркашовщина какая-то. И специально добавил – «не россиян я имею в виду, а именно русских».

Поздно. Русским бабушкам детных семей уже не водить, а у поколения пепси, на пестование которого положила столько сил наша демократия с лицом Гавриила Попова, нет Родины. Есть у них «уродина», «Русское радио» и Фоменко.

Была ведь, была у чеченцев возможность построить свое государство. Без русских. Без одиозного Дудаева. Гордая, свободная, независимая Чечня. Цивилизованная. Ничего не вышло. Народ здесь здоров работать – на себя, на свою семью и даже на свое доброе имя. А на государство – нет, не привычен. И тогда работу по государственному строительству заменили идеологической идеей – ваххабизмом. Результат – известен. В сущности, как это ни парадоксально, может быть, звучит, ваххабизм есть разновидность интернационализма. Перманентная революция, по Троцкому, продолжается...

Женщины вспоминают урус-мартановских ваххабитов: «Каких тут только не было! И арабы, и негры, и еще какие-то узкоглазые, с длинными волосами, заплетенными в косы. Что это за нация?! Может, малазийцы? Были и светловолосые, европейской внешности, и кавказцы, ну и наши, конечно... Домов быстро себе понастроили, жен начали брать. Бывало, идут четыре жены на рынок, все вместе, смеются, разговаривают между собой... Чудно нам это!..»

Не откладывая разбойничьих походов за Терек, ваххабиты начали похищать людей и «на местах», выбирая семьи позажиточней. Лечо Мамацуев, замглавы администрации Урус-Мартановского района, рассказывал, как украли его отца, два месяца пытали. Дальнейший путь известен: видеокассета, шантаж, требование денег... Но уже шла вторая война, и отца удалось выручить. Лечо не только в администрации курирует силовиков, но и внешне человек очень сильный – высокий, широкоплечий. Кассету он не смотрел – друзья ему не посоветовали. «Ты, Лечо, этого не выдержишь...»

Чеченские женщины обижаются: «Выдумали какое-то прозвище – лицо кавказской национальности». Лечо обижается: «По телевизору и радио говорят: «Чеченские бандиты». Не чеченские, а ичкерийские. Разве можно вешать бандитское клеймо на целый народ?!» Лечо, конечно, прав. Люди, действующее в ущерб своему народу, перестают ему принадлежать. Это – «граждане мира», вечные пилигримы. Чеченцы посадили себе на шею не чеченских бандитов, а ичкерийских. Русские посадили себе на шею вовсе не русское радио, телевидение и правительство, а насквозь интернациональное, лишенное вообще представление о том, кто такие русские, башкиры, татары, чеченцы, немцы и т.п. Воистину бессмертен ленинский тезис: «Пролетарий не имеет своего Отечества».

На центральной площади Урус-Мартана, неподалеку от того места, где находилась «расстрельная» стена, я разговаривала с чеченским учителем, который просил не называть его имени. Мудрый, многопоживший человек, он говорил: «Надо знать наш народ. Чеченцы никогда не будут воевать с чеченцами – у нас есть обычай кровной мести. Вот почему чеченцев надо сделать друзьями. Как? Нужно оказать чеченцу доверие, и вернее друга у вас не будет».

Итак, для того чтобы «держат» пространство государственности, в Чечне необходима внешняя сила – федеральные войска, власть. Но оглядываясь, на первую чеченскую войну, и на

действия Центра во вторую, любой здравомыслящий человек поймет, что и чеченцев, и русских в этом затяжном военном конфликте использует некая третья сила. Война – это людские потери с обеих сторон, и прежде всего мужского населения; война – это многомиллиардные вложения и списания средств; война – это, наконец, сильнейший пропагандистки-информационный повод, с помощью которого населением и мировым общественным мнением можно легко манипулировать. Покуда идет война, не будет покоя ни в России, ни в мусульманском мире. Надо ли объяснять, что сил, заинтересованных в подобной дестабилизации, предостаточно?

Армия, воюя с боевиками – где плохо, где хорошо, а где и вовсе героически – задачу свою выполняет. Чеченские отряды Беслана Гантамирова, люди из новой администрации в очередной раз сражаются за мир – доверие их в первой компании уже обманули. Допустим, боевиков разрешат в этот раз «додавить». Что дальше? Неужели уцелевшие русские вернуться в Чечню, как ни в чем не бывало? В чем вообще смысл политики России на Северном Кавказе? И какой авторитет здесь будет иметь федеральная власть, которая не может навести порядок в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах, сферы влияния в которых поделены преступными группировками, зачастую с «кавказским лицом»?

Мой рассказ о поездке на Северный Кавказ был бы неполон, если бы я не остановилась на некоторых особенностях чеченского гостеприимства.

Семен Броневский в книге «Кавказцы» пишет: *«Дружба (куначество) и гостеприимство соблюдается между ними [чеченцами] строго по Горским правилам, и даже с большею против прочих народов разборчивостью: гостя в своем доме, или кунака в дороге, пока жив хозяин, не даст в обиду».*

И вправду, гостей здесь принимают очень сердечно, подчеркнута церемонно, и любое желание гостя, без обсуждений, будет немедленно выполнено. За гостем здесь постоянно следит предупредительный, внимательный глаз, присутствие гостя всячески подчеркивается, поступки его – не обсуждаются. В конце концов, гостевание так утомляет приезжего, что он не чает, как оказаться дома. В этом, в сущности, и состоит великий смысл этого обычая – пусть гость постоянно помнит, что он здесь временно, и не забывает – кто в доме хозяин.

Русское гостеприимство иное – хозяева, по безалаберности ли, доверчивости, человека, приведенного в дом, сразу ставят в равное себе положение. Тут – вся душа нараспашку, и застолье вполне может кончиться потасовкой, а дальше – взаимные покаяния, клятвы верности, и – не исключено, новые сражения... В общем, «каков гость, таково ему и угощенье».

Но есть и другая пословица: «Гости навалили, хозяина с ног сбили». Кто возьмется сосчитать: сколько китайцев перевалило сейчас через границу России, скупил земли, фирмы и фирмочки в Благовещенске, Чите, Иркутске? Сколько азербайджанцев и грузин взяло рынки в Москве, Воронеже, Петрозаводске? Сколько армян основательно поселилось в Краснодарском крае? И – обратный отсчет. Сколько русских в Китае? Сколько русских контролирует бакинские рынки? Сколько русских школ в Ереване? И, наконец, сколько русских чувствуют себя хозяевами в Чечне?

Так не пора ли нам, русским, вернуться домой, обустроить свои жилища, нарожать детей, и обрести, наконец, Родину? Не пора ли нам повторить хрестоматийное: «Чужой земли не хотим, но своей – не отдадим!» Не пора ли нам сбросить с себя груз «интернациональной отзывчивости» и обрести, наконец, национальную ответственность?! И разве все народы России, многонациональной нашей Родины, не вздохнут тогда с облегчением?! Без русских не будет мира ни в Подмоскovie, ни на Дальнем Востоке, ни на Кавказе.

2000

Ненаписанное интервью

Виталия Канавкин, редактор отдела культуры нашего «Глобуса», просто бредил книгами писателя Солоухина. «Нет, – хватал он меня за руку в коридоре, – ты послушай!» – и гнал наизусть какое-нибудь солоухинское описание природы, застолья или женщины. Память у Витали изумительная, читает он с выражением, с завываниями, как радиоартист. В таких случаях я не знала, как вырваться. Канавкин цитировал, комментировал, закатывал глаза, впадал в нервное возбуждение, сходное с морфиническим; так проходил час, начинался другой... Спасением было одно – если в коридоре вдруг появлялась новая жертва, потенциальный слушатель. Тогда Витали ослаблял цепкость захвата, и я малодушно скрывалась в своей комнате.

Канавкин – личность незаурядная. Душа его – полигон страстей, воплощение закона единства и борьбы противоположностей. Мать у Витали – русская, отец – еврей.

– Ну ты посмотри, какой жид! Типичный, местечковый жид, – философски рассматривал себя Витали, стоя перед зеркалом в моем кабинете. При этом он выпячивал небольшое, яйцообразное пузцо (вообще он был тощий, как щука), отквашивал нижнюю губу, нос его характерно загибался, глаза приобретали скорбную влажность, и в целом он действительно походил на гримированных евреев из театра Марка Захарова.

– Пейсов не хватает, – ехидничала я. С национальным вопросом у нас было все в порядке:

– Ваши-то вчера опять номер выкинули, – говорила я Витале после выходных, пересказывая очередную телепроказу, – добром не кончится, ищите все приключений на свою библейскую голову!

Канавкин хихикал, как человек, застигнутый в момент вынашивания аморальных мыслей, и соглашался. Иногда, правда, его реакция на проделки соплеменников была бурной:

– Иуды! – орал он. – Суки! – голос его становился выше. – Гореть всем в огненной геенне! – Витали был крещеный и верующий.

Но журналистская работа есть процесс творческий, разногласия в нем неизбежны. Редко – раз или два в год – мы с Виталей крупно ссорились. Канавкин мгновенно переносил стилевые, жанровые или организационные нестыковки на национальную почву.

– Антисемитка! – истерически топотал он в коридоре перед моим кабинетом, при этом представители всех национальностей, населявшие нашу редакцию, панически захлопывали двери. Наступала могильная тишина. Витали продолжал бесноваться:

– Юдофобка! Националистка! – визжал он в театральном экстазе.

Как «старшей сестре» крыть мне было нечем. Я молчала. Спустя некоторое время Канавкин приходил мириться.

– Оля, – покаянно начинал он. – Я дурак! Ты знаешь об этом, – я горько смотрела в сторону. – Ну, прости, прости, – мурлыкал он, подлизываясь. Эффекта не было. – Ударь меня, подлеца, сволочь, скотину! – в праведном пафосе возвышал он голос. – Да, я плохой, злой, у меня тьма недостатков! – я чувствовала, что если сейчас же не отвечу прощением, то покаяние превратится в представление.

– Ладно, мир, – торопливо прерывала я Канавкина.

Он садился рядом, бесцельно сыпал веселыми несурезицами, чутко следил за выражением моих глаз, как-то особенно фальшиво мне поддакивал.

– Что еще? – подозрительно морщилась я.

– Ты не можешь дать мне пятьдесят рублей? Или сто? – наконец сбрасывал он с души камень. – А то поиздержался, как Хлестаков...

Культурная политика нашего журнала была так же противоречива, как и личность Витали. В одном номере можно было прочесть «Россия, Русь! Храни себя, храни!», в другом – «Россия – мать-алкоголичка, отец ее – тамбовский волк»; рядом с приличными рассказами

сосуществовали порой ужасные стихи (я до сих пор помню строчку «сушку в чаю мочи», между тем, речь здесь шла не о сдаче анализов, а о мирном философском чаепитии); культурную хронику в зависимости от обозреваемых событий Виталья подписывал либо мамминой фамилией «Канавкин», либо папиной – «Фогельсон».

Характер материалов на полосах определялся тем, в лицо какой национальности и в какие идеи был в данное время влюблен Виталья. Чувства его были горячи, но не глубоки, увлекался он часто, отрекался не реже, влюблялся физически и платонически, в мужчин и в женщин, в прекрасное и безобразное. Кумиры сотворялись и рушились, и лишь один из них – Владимир Солоухин, был незыблем и вечен, как лохматый красный свитер Канавкина.

Наконец мне надоели «солоухинские чтения» в коридоре, и я спросила:

– Виталья, если ты его так любишь, почему не сделаешь с ним интервью? (Втайне я тешила себя мыслью, что, вылившись на бумагу, энтузиазм Канавкина иссякнет.)

– Я боюсь, – вздохнул редактор. – Да, боюсь, – он воодушевился этой мыслью и бросился ее развивать: – Кто я, что я, по сравнению с Владимиром Алексеевичем! Ноль без палочки, речка без берега, тварь дрожащая, вошь безродная, – самобичевание было в числе его любимых занятий. – Потом, разве он согласится? – в печати как раз прошла информация, что Солоухин тяжело болен. – Как, что я ему скажу? У меня спазмы горло схватят, – трудно было представить такую ситуацию, но я смолчала. – Вот если бы с тобой, – спасительная идея пришла к нему в голову, – с тобой я готов идти на край света, хоть к сатане!

Остаток трудового дня Виталья потратил на мое уламывание. Я поняла, что попалась.

– Ладно, – сказала я. – Так и быть, пойду. В качестве эскорта. Безмолвного, почетного сопровождения твоей трусливой персоны. Но учти: текст писать будешь ты, вести беседу – тоже, – и Виталья утвердительно затряс головой, как китайский болванчик.

Теперь уже я надеялась, что Солоухин нам откажет. Канавкин с величайшим благоговением положил передо мной мятый клочок бумаги с телефонным номером.

Трубку взяли на шестом или седьмом гудке, глухо сказали «да».

– Владимир Алексеевич? – не вполне веря услышанному, удивилась я.

– Он самый, – охотно подтвердил Солоухин своим знаменитым владимирским говорком.

Я сообразила, что надо брать быка за рога, ковать железо, пока горячо, договариваться немедленно. «Старик может быть глуховатым», – мелькнуло у меня в голове, и я усилила громкость:

– Мы, сотрудники журнала «Глобус», Ольга Брянцева и Виталий Канавкин, просим вас дать для нашего издания интервью!

– Орать-то не надо, – степенно заметил Солоухин и в такой же раздумчивой манере назначил нам место, день и час.

Виталья плясал от радости «русскую» под собственный аккомпанемент, я хмурилась. Прикидывала: успею ли до послезавтра что-то перечитать? Не сидеть же толкушкой между двумя мужиками при умной беседе! И я рванула домой, к книгам.

Мы договорились с Виталей встретиться у платформы «Переделкино» и в первые секунды не узнали друг друга. Канавкин сменил свой красный свитер на рубашку с пиджаком; одежда была в разноразмерную клетку, и редактор отдела культуры сильно смахивал в ней на афериста начала века. Я тоже поступилась принципами – ходить на задания в брюках и в обуви без каблучков. На мне был весьма легкомысленный костюмчик, выгодно подчеркивающий то, что принято подчеркивать, и туфли на шпильках. Странная пара полюбовалась отражением в витрине пристанционного магазина и двинулась к кладбищу – Виталья утверждал, что это самый короткий путь к искомому дому.

Стояли майские дни, по-весеннему яркие, с молодым солнцем, с еще не затоптанной и не запыленной травой; пахло свежим листом, обновленной хвоей, подсыхающей глиной. Странно

было в такой день лезть через чужое кладбище, да еще не вполне ухоженное. Большая часть растущих здесь деревьев и кустарников была поражена болезнью – кроны умирали, опутанные тяжелой, темно-серебряной паутиной. Туфли мои скользили по узким и грязным дорожкам, я проклинала свою глупость и Виталину тупость, грозилась, что ремонт обуви будет оплачивать он.

– Молчи, женщина! – витийствовал Канавкин и цинично декламировал:

– Чем о туфлях пектись, смотри, сколько евреев лежат в земле сырой, не ведая забот! – он читал вслух нерусские фамилии с памятников.

Но все, в том числе и кладбища, кончается. Вскоре мы подошли к двухэтажному дому с облупленными голубыми ставнями. Во дворе сиротели старые белые «Жигули» с проржавленным кузовом. Мы двинулись вокруг дома в поисках входной двери и увидели белоголового невысокого дедка. Я открыла рот, чтобы спросить его: не знает ли он, где живет писатель Солоухин?; но в эту самую секунду Виталия, утробно екнув, воздел руки вверх и закричал со слезой в голосе, ставя каждое слово отдельно:

– Владимир! Алексеевич! Это! Мы! Журналисты! Пришли!

– Здравствуйте, – основательно сказал писатель.

– Здравсте, – растерянно сказала я и наконец-то закрыла рот.

Жалость сжала мне сердце: нас ждали. К нам готовились, для нас принарядились. По давноненадеванной сорочке шли складки, образовавшиеся от долгого хранения. Брюки были высоко поддернуты – гораздо выше талии – отчего писатель казался ниже ростом.

Сопровождаемые Виталиной болтовней, мы поднялись на второй этаж, в кабинет. У журнального столика горела настольная лампа, разгоняя полумрак от зашторенных темным окон. В просторной, даже чересчур, комнате тонули книжные полки, массивный письменный стол, редкие, одинокие стулья... Я споткнулась о пустую бутылку «Белого медведя», и она долго катилась по полу.

– Пиво-то я люблю, – заметил Солоухин.

Мы угнездились втроем у журнального столика, Виталия настроил диктофон. Теперь, вблизи, я узнавала и признавала в этом пожилom человеке известного писателя, чьими книгами когда-то зачитывалась. Лицо его было землисто-бледно, устало; глаза потеряли глубину и выразительность, черты одрябли; жизнь умирания начиналась в нем, но и эта жизнь – жизнь; он походил на большую, широкую, мелеющую реку, которая, даже погибая, несла прежнюю воду.

А беседа не пошла. Казалось, что Виталия знал о солоухинских книгах больше, чем автор. Канавкин подобострастно фанатствовал, льстиво цитировал, делал лестные сопоставления. Все без толку: писатель откровенно скучал, пару раз с трудом удержал зевоту, поддакивал вяло, а если и пускался в рассуждения, то они были донельзя вторичными по сравнению с его же собственными произведениями. Пытка литературой продолжалась минут сорок. Но вот Виталия дошел до мирского:

– Владимир Алексеевич! А книги-то у Вас сейчас выходят?

Писатель оживился – похвастать ему было чем – как раз начался выпуск его собрания сочинений. Мы склонились над одним из томов, разглядывая вклейку с фотографиями.

– Вот родители мои, – объяснял Солоухин, ударяя на о, – вот дом наш в Олепино...

– Хороший дом! – невольно вырвалось у меня. Да и как не оценить высокий фундамент, фасад в пять окон, богатую крышу?!

Солоухин и бровью не повел. Продолжал:

– С ребятами в Литинституте, после войны. А это на съезде писательском. С Солженицыным в Вермонте, в Америке...

Фотографии закончились. Виталия снова взялся за работу:

– А вы современную литературу читаете? Пелевина там, Сорокина?

– Сорокина да, хорошо знаю, поэта, Валентина; а молодой человек ко мне приходил на днях, не помню его фамилии, просил рекомендацию в Союз, так читать невозможно. Но я дал, не жалко.

И эта тема была исчерпана. Тогда Виталя закатил очередной многоминутный монолог, уловить смысл которого не представлялось возможным. Очнулась я на слове «евреи», которым Канавкин закончил речь.

Тут-то и наступил перелом в нашей встрече. Слово за слово – и Солоухин разошелся.

– Если разобраться, – рассуждал он, – они мне лично ничего плохого не сделали, еврей-то. Наоборот, много хорошего, – писатель приводил примеры, – а от русских сколько я пакостей перенес – не передать! Но не в личной моей судьбе дело, сами понимаете. Они, – тут писатель нехорошо покосился в мою сторону, – что с родиной нашей сделали после 17-го года, сколько крови народной пролили! Знать-то, помнить надо это или нет?

Виталя подобострастно кивал, я прятала улыбку. И смех, и грех: двуликого Канавкина-Фогельсона писатель принял за красно-коричневого патриота и понес ему свои печали. Лекция была популярной, но содержательной – и на убийстве царской семьи остановились, и на Ленине-сифилитике (тоже, кстати, еврее), на уничтожении храмов православных, осквернении святынь, да и мало ли в нашей истории болящего и кровавого, когда к отечественной дури примешивался чужой злой умысел?! Солоухин последовательно, доказательно осваивал тему, Виталяно лицо перекашивали гримасы, которые могли сойти за отсвет народных страданий, но Канавкина, если и коржило национальное чувство, то скорее «папино», чем «мамино».

Дошли до писателей.

– Откройте справочник, – авторитетно внушал нам рассказчик, – поглядите: восемьдесят процентов Московской писательской организации – евреи. Почему не армяне или нивхи какие-нибудь? Представьте: восемьдесят процентов нигерийских писателей – русские! Возможно ли такое?!

Для Виталя, похоже, наступал момент истины.

– Владимир Алексеевич, а писатель Анатолий П., как вы считаете, кто такой? – робко вопрошал Канавкин.

– Жи-и-ид, – удивлялся его наивности Солоухин.

– А Б. и М.?

– Тоже жиды, – вздыхал писатель, – махровые, знаете ли...

– А поэт В.?

– Этот – полужид, да, Ондрюша-то, погорелец...

Они увлеченно поговорили еще некоторое время о евреях примерно в такой манере, в какой школьные учителя обсуждают на педсоветах неисправимых двоечников или как служащие зоопарка делятся друг с другом о повадках любимых, но, положа руку на сердце, глубоко бестолковых мартышках. «Пора», – решила я и легонько наступила под столиком Виталя на ногу. Он уловил условный знак, и лицо его острадалилось. Я наступила второй раз. Канавкин зачастил:

– Вот, Владимир Алексеевич, вы не подумайте чего плохого, я не хотел, а Оля говорит: давай, что тут такого?; вы конечно, можете обидеться, но Оля (он спешил меня «сдать»), короче, мы принесли вам бутылку водки и банку огурцов!

– Да? – приятно удивился писатель и впервые посмотрел на меня с любопытством, – так давайте выпьем!

«Где огурцы, тут и пьяницы». Мы перешли в другую комнату. Она мне показалась еще больше и еще пустынее. Иконы в киоте, в сверкающих позолотой окладах; огромный, бильярдных размеров стол. Огурцами мы, конечно, не ограничились. Я взялась организовывать закуску, и писатель разрешил мне потряхнуть свой холодильник. Голого места вокруг бутылки

не осталось: ветчина заморская, грибы уральские, капуста русская, зелень кавказская. Сели мы с Виталей напротив Солоухина, но обстановка такая, что вроде бы обнялись. Выпили за здоровье, за русскую литературу. Скрепки пали, язык у меня развязался:

– Ева из ваших книг – кто она? Помните, вы писали:

Сыплет небо порошею
На цветы, на зарю,
«Помни только хорошее», -
Я тебе говорю.

.....

Время мчится непрошено,
Мы уходим скорбя.
Помни только хорошее,
Заклинаю тебя.

.....

Оглянусь на хорошую
На последнем краю –
Светишь в зарослях прошлого,
Словно Ева в раю.

– Да кто, женщина, – нехотя взялся объяснять Солоухин. – Евгения ее звали, а я ее – Евой. Мы с ней в Польшу вместе ездили...

– А что с ней сейчас?

– Ничего, живет себе, когда и позвонит. Она хотела, чтоб я женился на ней, а как семью рушить – у меня две дочки, супруга.

– Неужели от такой большой любви ничего не осталось? – я пришла в ужас.

– Почему же: книги, воспоминания, добрые годы. Разве этого мало? – Солоухин недоумевал.

Я горестно затрясла головой: мне казалось, что мало. Любовь – величина совсем не равная земному времени. Неужели я ошибаюсь? Нет, все не может кончиться банальным самоумерщвлением, человек не властен над таким великим таинством, – теперь уже Виталья наступал мне на ногу, оказывается, свои возражения я бормотала вслух.

Мужчины стоя выпили за женщин и за любовь.

– Понимаете, я близнец по гороскопу, – рассуждал писатель, – а близнецы – это всегда двойственность. Допустим, сижу я дома, день хороший, никого нет, звонит женщина: приезжай. Я собираюсь, не спеша, правда, что-то меня томит. И тут другая звонит: я к тебе еду, мол. Все, меня раздражают противоречия: и к первой охота, и со второй не прочь. Как быть? И так всю жизнь. И не только с женщинами, – хитро завершил рассказчик и слабо мне подмигнул. Виталья от таких откровений и знаков внимания совершенно опьянел и сидел с круглыми глазами.

– А жена ваша где? – поинтересовалась я.

– Старуха-то? Она в городе сидит, сторожит квартиру. Решетки на окна поставила, добра много...

«Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!» Я вонзила вилку в тарелку с соленьями, насмелилась и спросила, сбиваясь:

– Владимир Алексеевич! Все ваши книги вам равны, они хорошие; но вам никогда не хотелось себя превозмочь, из себя выйти, ну вроде как впереди лошади бежать, впереди саней, на которых вы едете!

– Конечно, мои книги мне равны, – не понял писатель, – а как же, так всегда и есть, – я покаянно свесила голову и замолчала.

А разговор неожиданно свернул на печальную тему:

– Когда умру, так попросил похоронить меня в Оледино, на родине, – спокойно размышлял писатель.

– Что вы, что вы такое говорите! – испугался и закрестился Виталя.

– Да чего уж там, – хладнокровно заметил Солоухин, – все умрем. Так вот, у нас в Оледино на кладбище сухо, песочек, земляника летом растет. И люди поминать будут. А тут кинут в какую-нибудь яму с водой, и – привет. А в Оледино я уже и место себе подобрал, – он говорил все тише, видно было, что наша встреча, застолье, разговоры утомили его; глаза закрывались, как у больного цыпленка, он задремывал.

Мы распрощались. «Простите на глупости, не судите на простоте!»

Пошли дни. Канавкин любил рассказывать в редакции, как мы «пили с Солоухиным», представлял он в ролях, очень похоже, подстраивался под владимирский говорок писателя, изображал мои якобы жеманные жесты по натягиванию подола юбки на коленки, ноги ставил циркулем; передавал свою бестолковость и имел на людях большой успех.

Когда зрители расходились, мы начинали ссориться. «Зачем ты пообещал ему текст? Теперь человек ждет, надеется!» «Я уже написал», – юлил Виталя. «Где? Покажи?» «В голове, у меня все давно сложилось, все готово», – оправдывался Канавкин. Вообще, вранье было естественным состоянием его души.

Текст Виталя так и не написал. Зато меньше чем через год после нашей встречи в Переделкино он сотворил некролог.

«Андрей Вознесенский называл его «соло земли». Солоухин любил красоту. За это его ругали.

Солоухин не любил вычурный авангард в искусстве. Считал, что многое в нем от незнания, непрофессионализма, шарлатанства. Один из первых в советский период рассказал о красоте русской иконы. И опять его ругали за то, что верует в Бога. Но несмотря на нападки критиков писал о том, что близко, понятно и красиво для людей, по-настоящему ценящих русскую духовную литературу XIX и начала XX веков. В той литературе – истоки его творчества. Перечитайте «Владимирские проселки», «Каплю росы», «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Варшавские этюды», перечитайте изумительное эссе о лилии Виктории-регии. Эти книги останутся с нами навсегда. Стихи останутся. Сколько в них любви! Любовь – движительница, главная тема его творчества. И его земного одиночества. Оно оборвалось вместе с его нелегкой жизнью.

И прежде чем погаснет свет сознания

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.